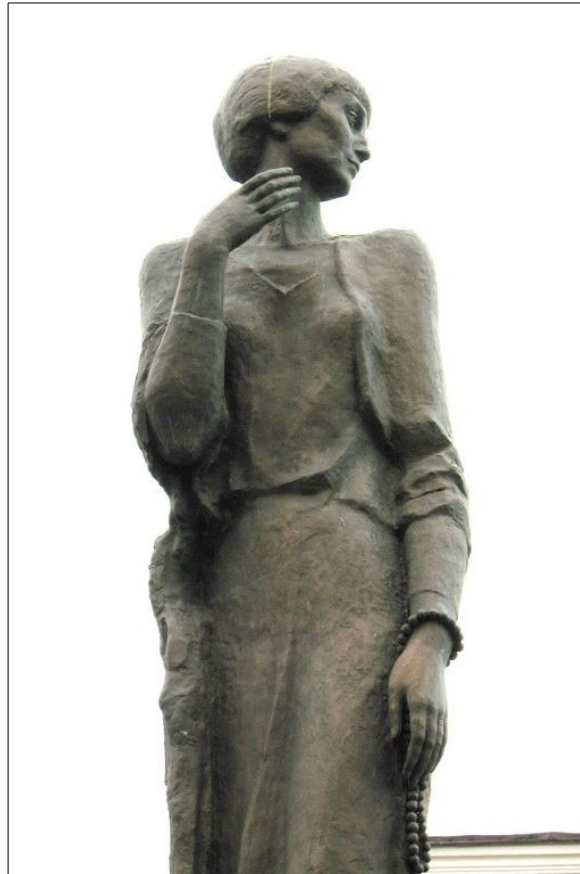


Наталья Кравченко. Звезда или хлеб? —  
Саратов, 1998. — С. 144-164.

### **Наталья Кравченко Горького слова слава**

В то время я гостила на земле.  
Мне дали имя при крещенье "Анна".  
Сладчайшее для губ людских и слуха.



"Анной Всея Руси" назовет её потом Марина Цветаева. Мир благодарен этому имени.

Ахматовой и Пастернака,  
Цветаевой и Мандельштама  
Неразлучимы имена.  
Четыре путеводных знака.  
Их горний свет горит упрямо,  
Их связь таинственно ясна.  
Неугасимое созвездье!

Навеки врозь, навеки вместе.  
Звезда в ответе за звезду...

М. Петровых

Как она была хороша! Ей посвящали стихи Блок и Пастернак, ее портреты писали лучшие художники времени. Каждый видел в ней свое. "Музу плача" — Цветаева. "Негодующую Федру" — Мандельштам. Лурье — "Женщину в превосходной степени". Если бы ей, "царскосельской веселой грешнице", показали тогда, что станет с её жизнью!

—  
Это не я, это кто-то другой страдает.  
Я бы так не смогла...

Смогла. И других научила. Она учила искусству оставаться собой несмотря ни на что, учила душевной подлинности, цельности, стойкости, красоте судьбы.

Если б все, кто помощи душевной  
У меня просил на этом свете, —  
Все юродивые и немые.  
Брошенные жены и калеки,  
Каторжники и самоубийцы, —  
Мне прислали по одной копейке,  
Стала б я "богаче всех в Египте",  
Как говаривал Кузмин покойный...  
Но они не слали мне копейки,  
А со мной своей делились силой,  
И я стала всех сильнее на свете —  
Так, что даже это мне не трудно.

Анна Ахматова стала великим народным поэтом, поэтом отречения, запечатлевшим в собственной судьбе, как в осколке зеркала, трагический опыт эпохи.

...Эта женщина больна.  
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме...  
Помолитесь обо мне.

...А я иду — за мной беда,  
Не прямо и не косо,

А в никуда и в никогда,  
Как поезда с откоса.

...Я не искала прибыли,  
Я славы не ждала.  
Я под крылом у гибели  
Все тридцать лет жила.

...Опять подошли незабвенные даты,  
И нет среди них ни одной не проклятой.

...Я была тогда с моим народом.  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Как-то, глядя на одну из своих поздних фотографий, Ахматова скажет Лидии Чуковской: "Бабе 53, а ещё видно, чем она была. Видно, в чем, собственно, было дело". Сорок с лишним лет, прожитых при советской власти, гибель любимых, друзей, арест сына, многолетняя травля не смогли совладать с благородной величавой осанкой этой женщины, поражающей поистине королевским пренебрежением к тяготам своей страшной жизни. В ней была та души высокая свобода, которая позволяла ей не гнущаясь под гнетом "бед и обид". Ей было дано победить время.

Ржавеет золото и истлевает сталь.  
Крошится мрамор. К смерти все готово.  
Всего прочнее на земле — печаль  
И долговечней — царственное слово.

Молодежь нескольких поколений влюблялась под аккомпанемент стихов Ахматовой, находя в них воплощение своих чувств. Однако после революции эта поэзия была подвергнута остракизму: критика объявила ее узко-мещанской, дворянской, не созвучной духу нашей бурной эпохи. В 20-е годы в журнале "Молодая гвардия" разгорелась дискуссия о стихах поэтессы. Читатели недоумевали: как же так, Ахматова далеко не коммунистка, но стихи её чем-то трогают и задевают не одно горячее комсомольское сердце. Вопрос даже вставал так: совместимо ли пребывание в комсомоле, не говоря уже о рядах партии, с чтением "дворянских" стихов Ахматовой? На этот поставленный в лоб вопрос пыталась ответить А. Коллонтай — пламенная революционерка, дипломат, автор множества трудов по женскому вопросу. В статье "О Драконе и Белой птице" она выступила страстной защитницей ахматовского творчества от нападков рьяных дискусионеров с феминистских позиций. Будучи пропагандисткой идей женского равноправия, Коллонтай прочитала стихи Ахматовой именно под этим углом зрения. Конечно, такой подход был

несколько односторонним и упрощенным. Хотя феминистские взгляды не были чужды поэтессе. Лидия Чуковская даже называла ее "женофилкой". Ахматова считала женскую любовь в отличие от мужской более совершенной, глубокой, — лучшей любовью. Она не раз говорила: "Научно доказано, что мужчины — низшая раса". А развод считала "лучшим изобретением цивилизации": "Я — всегда за развод"

Ахматовой фатально не везло в личной жизни. Измены Гумилева, деспотизм Шилейко, развод с Пуниным...

А ты, любовь, всегда была  
Отчаяньем моим.

Она не была святой: "целительница нежного недуга, чужих мужей вернейшая подруга и многих — безутешная вдова", как скажет она о себе.

Оставь, и я была, как все,  
И хуже всех была.  
Купалась я в чужой росе,  
И пряталась в чужом овсе,  
В чужой траве спала.

В числе её пленников были нестигаемый поляк-контрразведчик Юзеф Чапский ("В ту ночь мы сошли друг от друга с ума"), и английский дипломат Исая Берлин ("он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится двадцатый век"), и французский композитор Артур Лурье, уехавший за границу ("Вчера еще, влюбленный, молил: "не позабудь"), и несостоявшийся муж Владимир Гаршин, племянник известного писателя, помешавшийся от любви к Ахматовой ("Посвящение")... А иначе не было бы стихов, которым веришь, как "человеку, который плачет". ("О Муза плача, прекраснейшая из Муз!")

Гумилев поначалу был раздосадован, что его молодая жена пишет стихи. "Занялась бы чем-нибудь другим — танцами, что ли", — раздраженно говорил он ей. Потом, очарованный этими стихами, признает свое поражение:

Когда я жажду своеволий.  
И смел, и горд — я к ней иду  
Учиться мудрой сладкой боли  
В ее истоме и бреду.



Я пью за разорённый дом,  
За злую жизнь мою,  
За одиночество вдвоем,  
И за тебя я пью, —  
За ложь меня предавших губ,  
За мертвый холод глаз,  
За то, что мир жесток и груб,  
За то, что Бог не спас.

Принято было называть ее стихи интимными, камерными, как будто любовь — это не всечеловеческое, не всенародное чувство, как будто существуют сердца, не подвластные ей. Когда наконец сейчас мы позволили себе в отношении Ахматовой эпитеты "большой поэт", "великий поэт", мы спешим оправдаться ссылкой на гражданские мотивы ее поэзии, на ее "Реквием", стихи военных лет. А что, разве без них Ахматова не была бы великим народным поэтом? Когда ждановская критика обрушилась на Ахматову в 46 году — они не знали ее гражданских стихов. Она была опасна для них именно своей лирикой. Ибо поэзия — это свобода, одно из самых неопровержимых ее проявлений, она оставалась единственной сферой жизни, не подвластной идеологии. Жизнь человеческого сердца не подчинялась им, была для них чужда и непонятна, она была подвластна не им, а этой женщине. Нельзя прихлопнуть ладонью солнечный луч. Это бесило их. И поэтому вся ее поэзия — оппозиция. Оппозиция тому, что пытались сделать с человеческой душой.



А каждый читатель, как тайна,  
Как в землю закопанный клад,  
Пусть самый последний, случайный,  
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,  
Когда ей угодно, от нас.  
Там кто-то беспомощно плачет  
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,  
И тени, и сколько прохлад,  
Там те незнакомые очи  
До света со мной говорят.

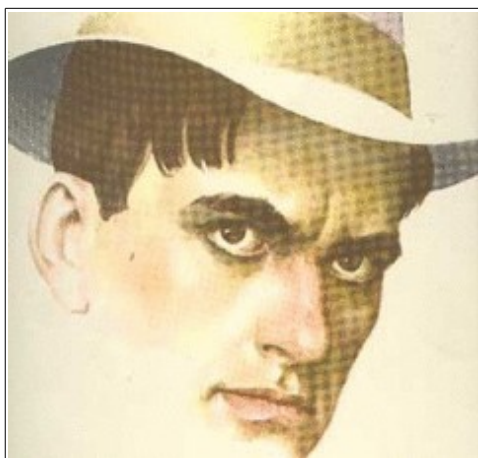
За что-то меня упрекают  
И в чем-то согласны со мной...  
Так исповедь льется немая,  
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен,  
И тесен назначенный круг,  
А он неизменен и вечен —  
Поэта неведомый друг.

Долго бытовало мнение об ограниченности поэтического мира Ахматовой ("мирка", как тогда говорили). Даже Корней Чуковский в своей статье тех лет "Две России" противопоставлял "комнатную" Ахматову "площадному" Маяковскому, хотя они обитали в разных мирах и измерениях. Маяковский — в советских, более того, околочекистских кругах, а Ахматова держалась как можно дальше от первых и уж давно — от вторых... Когда Ахматову спрашивали, как она относится к Маяковскому, она отвечала: "До революции — это Лермонтов, а потом — плакат". И добавляла: "Ну можете вы представить, чтобы, скажем, Тютчев написал: "Моя полиция меня бережёт?". Маяковский же, несмотря на эстрадные выпады, вроде

Красивость — аж дух выматывает!  
Как будто влип в акварель Бенуа  
К каким-то стишкам Ахматовой —

в действительности любил её стихи и не раз повторял: "Обожаю Ахматову", даже не всегда прикрывая эту любовь напускным сарказмом. Когда Маяковский был влюблен, он всегда — за едой, на улице, в процессе игры в бильярд — цитировал ее строчки, и по этим цитатам Лиля Брик догадывалась о новом увлечении поэта.



Вот так — "поверх барьеров", идеологий и принципов — соприкасались души талантов.

Поэзию Анны Ахматовой называют "энциклопедией женской любви", хотя творчество ее гораздо шире и глубже одной лишь любовной темы. Твардовский писал о ее стихах: "Это менее всего так называемая женская или, как еще говорят, "дамская" поэзия с ее ограниченностью мысли и чувства". Ахматова не забывала о вечном в поэзии, но при этом не отрывалась от своей земли и своего времени, жила бедами своей страны и эпохи.

Не лирою влюбленного  
Иду пленять народ —  
Трещотка прокаженного  
В моей руке поет.

В 1918 году, когда Россию захлестнула волна белого и красного террора, Ахматова писала такие стихи:

Для того ль тебя носила  
Я когда-то на руках,  
Для того ль сияла сила  
В голубых твоих глазах!

Вырос стройный и высокий,  
Песни пел, мадеру пил.  
К Анатолии далекой  
Миноносец свой водил.

На Малаховом Кургане  
Офицера расстреляли.  
Без недели 20 лет  
Он глядел на белый свет.

Эти стихи были обращены к её младшему брату Виктору, морскому офицеру, которого в семье ошибочно считали убитым. В этих стихах было то, что у нас было принято называть "абстрактным гуманизмом", хотя это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека. Но тогда считалось, что "нет ничего гуманнее, чем классовая ненависть пролетариата".

К моменту революции Ахматовой исполнилось 28 лет. Как говорил Бродский, "слишком много, чтобы поверить, и слишком мало, чтобы оправдать". Не то, что бы она сочувствовала белым или красным. Она осуждала гражданскую войну как всякую войну, воспринимая все это как трагедию страны.

Однажды Ахматову попросил принять его один американский профессор. Он писал книгу по истории России и хотел от Ахматовой узнать, что такое русский дух. Она сказала, что не знает. "А вот Федор Достоевский знал", — упрекнул профессор. Ахматова резко ответила ему: "Достоевский знал много, но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить 50, 100 человек — и вечером пойти в театр".



О Боже, за себя я все могу простить,  
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить  
Или змеей уснувших жалить в поле,  
Чем человеком быть и видеть поневоле,  
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам  
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

Стихи Ахматовой были признаны вредными, упадническими. В 1925 году вышло негласное постановление ЦК: "Ахматову не арестовывать, но и не печатать". И не печатали до 40-го года, пока Сталин вдруг ни спросил: "А что у нас делает монахиня?" — и — разрешил печатать.

Травля Ахматовой началась задолго до ждановского доклада. Первым из крупных деятелей новой власти, кто произнес нелестные слова о поэте, был Троцкий. Он написал тогда книгу "Литература и революция", где, признавая масштаб дарования Ахматовой, оценивал его с классовых позиций: "Литературный круг Ахматовой очень мал. Он охватывает самое поэтессу, неизвестного в котелке или со шпорами и неизменно бога без особых примет". Это было только начало. Вульгарные социологи, чье ученье тогда только формировалось, взяли куда более прокурорский тон. В 30-е годы, когда появился первый том Литературной энциклопедии, стереотип отношения к Ахматовой был сформирован. Там был представлен полный набор ярлыков: "поэтесса дворянства", "узкая область интимно-эротических переживаний"... Жданов лишь слегка переставил слова из энциклопедии. Единственное, что главный идеолог сделал сам — это обильно уснастил переделанный текст грубой бранью, на которую не решались еще в начале 30-х.

Выжидали: не образумится ли? Но Ахматова не собиралась изменять своей Музе в угоду текущему моменту. "Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам, — говорила она. — Они надеялись, что на этот раз у меня окажется про колхозы". А в 29-м году Ахматова в знак протеста против исключения из СП Замятина и Пильняка выходит из Союза Писателей. Снова туда ее примут только в 40-м.

Вопрос об эмиграции для Ахматовой никогда не стоял. Почти все её стихи на эту тему связаны с Борисом Анрепом — талантливым художником-мозаичистом, уехавшим в 17 году в Англию (адресату стихов в "Белой стае", "Подорожнике").



Спор между ними по этому вопросу начался еще до отъезда Анрепа из России, когда он сказал, что любит "английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред". Ахматова как бы в ответ писала:

Высокомерьем дух твой омрачен,  
И оттого ты не увидишь света.  
Ты говоришь, что вера наша — сон,  
И марево — столица эта.  
Ты говоришь — моя страна грешна,  
А я скажу — твоя страна безбожна.  
Пусть на нас еще лежит вина.  
Все искупить и все поправить можно...

И в другом, написанном летом 17-го:

Ты отступник: за остров зеленый  
Отдал, отдал родную страну,  
Наши песни и наши иконы,  
И над озером тихим сосну...

Так теперь и кощунствуй, и чванься.  
Православную душу губи.  
В королевской столице останься  
И свободу свою полюби.

Здесь противопоставление двух высших ценностей: Родины и свободы. Предпочтение отдается Родине. О своей решимости остаться здесь Ахматова писала и в других стихах, адресованных Анрепу: "Мне голос был. Он звал утешно...", "Нам встречи нет, мы в разных странах", "Не с теми я, кто бросил землю...". В то же время она ясно понимала весь трагизм судьбы тех, кто выбрал иной путь:

Но вечно жалок мне изгнанник,  
Как заключенный, как больной.  
Темна твоя дорога, странник,  
Полынью пахнет хлеб чужой.

Твердое решение не покидать родину было вызвано у Ахматовой не политическими надеждами, как, скажем, у Блока, а невозможностью для нее существовать в разлуке с родной землей. В обстановке гражданской войны, разрухи, военного коммунизма, она воспринимала свое решение остаться как крест, добровольно на себя принятый. Видя всю жестокую правду реальности, она в то же время пишет о вере своей души в новое, еще непонятное ей самой начало жизни.

Все расхищено, предано, продано,  
Черной смерти мелькало крыло,  
Все голодной тоскою изглодано,  
Отчего же нам стало светло?

И так близко подходит чудесное  
К развалившимся грязным домам...  
Никому, никому неизвестное,  
Но от века желанное нам.

Это был 21 год. Разруха, голод, самый конец гражданской войны, из которой страна выходила с невероятным напряжением сил. Старый мир был разрушен, новый только еще начинал жить. И посреди обломков разрушенного старого, который был ее миром, она произносит эти слова, благословляя вечную мудрую новизну жизни. В этом стихотворении — предвкушение жизни, которая словно начинается сначала. Многими прежними единомышленниками Ахматовой, которые ждали от нее новых перчаток с левой руки на правую, подобные стихи воспринимались в штыки, они их разочаровывали. Г. Иванов писал, как некоторые с недоумением говорили: "большевизм какой-то". Строчки:

И так близко подходит чудесное  
К развалившимся грязным домам —

казались им кощунственными. А это была просветленная болью ее неизменная любовь к России и ее будущему, в которое она, несмотря ни на что, верила.

И вовсе я не пророчица.  
Жизнь моя светла, как ручей.  
Просто мне петь не хочется  
Под звон тюремных ключей... —

смиренно скажет она в середине 30-х, хотя пророчицей была и этот дар зоркости, проницательности, а потом и прорицания открыла в себе еще в юности:

А под ним тот профиль горбатый,  
И парижской челки атлас,  
И зеленый, продолговатый,  
Очень зорко видящий глаз.



Порой она сама пугалась своей зоркости, потому что видела далеко во все стороны света и во все концы времени...

В конце августа 21 года "за участие в контрреволюционном заговоре" расстреляли первого мужа Ахматовой Николая Гумилева. Но еще за месяц до этой даты, когда ничто не предвещало трагедии, она, словно предчувствуя его гибель, напишет:

Не бывать тебе в живых,  
Со снегу не встать.  
Двадцать восемь штыковых.  
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку  
Другу шила я.  
Любит, любит кровушку  
Русская земля.

Так что никаких иллюзий насчет светлого будущего, в отличие от Маяковского, она не питала. Впрочем, обольщался не только Маяковский, обольщался и Пастернак... А вот Ахматова не обольщалась, прекрасно зная, что русская земля любит кровушку, и потому ей, Анне Ахматовой, придется, как стрелецким женкам

Под Кремлевскими башнями выть...

Сбывалась её страшная молитва, где она в 1915 году писала, обращаясь к Богу Молоху:

Дай мне горькие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,  
Отыми и ребенка, и друга,  
И таинственный песенный дар.

И все это ради того,

Чтобы туча над темной Россией  
Стала облаком в славе лучей.

Цветаева говорила Ахматовой при встрече: "Как Вы не боитесь такое писать? Разве Вы не знаете, что все, что в стихах — сбывается?"

Я гибель накликала милым,  
И гибли один за другим.  
О горе мне! Эти могилы  
Предсказаны словом моим.

Погиб в 49-м в лагере третий муж Ахматовой искусствовед Пунин. Молитва сбылась и в отношении сына. Льва Гумилева арестовывали четыре раза: в 33-м, 35-м, 38-м и 49-м году. Это была самая большая боль ее жизни.

И упало каменное слово  
На мою еще живую грудь.  
Ничего, ведь я была готова,  
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:  
Надо память до конца убить,  
Надо, чтоб душа окаменела,  
Надо снова научиться жить.

Однажды эти стихи спасли жизнь человеку. Одного священника удержала от самоубийства записка с этими стихами: они вдохнули в него волю к жизни, вернули утраченное мужество. Эти строки были написаны Ахматовой после ареста сына. Первый раз он был арестован за стихи Мандельштама о Сталине, которые имел несчастье слушать и даже одобрить. За это его арестовывали несколько раз и гноили в лагерях 14 лет. На допросах следователь бил его головой о стену, требуя признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. "Что она жгла?" — спрашивали его, имея в виду пепел сожженных записочек в пепельницах, где Ахматова, опасаясь подслушивающих аппаратов, сжигала стихи после прочтения друзьям. Но от стукачей ничего не укрылось. Не так давно Олег Калугин, рассказывая о многолетней слежке своей бывшей конторы за Ахматовой, назвал в числе осведомителей Павла Лукницкого. Вот от чего земля качнулась под ногами! Лукницкий, который был самым первым и самым преданным биографом Н. Гумилева, с 20-х годов собиравший свидетельства о нем, — в его архиве сохранились записи о двух тысячах его встреч с А. Ахматовой, и рядом с ними лежали и те отчеты, которые составлялись им для любознательных искусствоведов из Большого дома!

Разлучили с единственным сыном,  
В казематах пытали друзей,  
Окружили невидимым тыном  
Крепко слаженной слежки своей.

Наградили меня немотою,  
На весь мир окаянно кляня,  
Обкормили меня клеветою,  
Опоили отравой меня...

Ахматовой намекнули, что если она напишет стихи во славу Сталина — это сможет облегчить участь ее сына. И она их написала. Цикл о победе "Слава миру", тут же с радостью напечатанный в "Огоньке". Правда, мы никогда не узнали бы в этих вымученных виршах Ахматову, если б под ними не стояло ее имя.

И благодарного народа  
Он слышит голос: "Мы пришли  
Сказать: где Сталин — там свобода,  
Мир и величие земли".

Это унижение было для нее одним из самых тяжелых в жизни. Тут ее покинула даже техника, ремесленные навыки. Лидия Гинзбург писала: "Когда поэты говорят то, чего не думают, они говорят не своим языком". После этого у нее даже появилась фальшивая интонация в разговоре на людях, что подметила наблюдательная Лидия Чуковская. Ахматова всю жизнь стыдилась этих стихов, и позже, когда вышла ее книжка с этим циклом о мире, она, даря сборники друзьям, заклеивала их автографами других стихотворений.

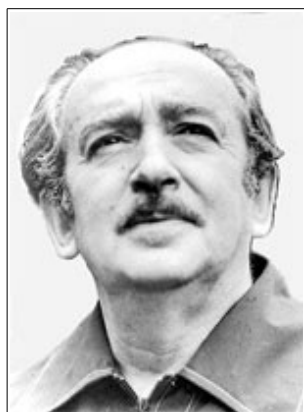
Не за то, что я чиста осталась,  
Словно перед Господом свеча —  
Вместе с вами я в ногах валялась  
У кровавой куклы палача.

Жертва оказалась напрасной. Сына не освободили. Но, боже, как над ней издевались, злорадствовали, улюлюкали в западных газетах! Писали, что она в своем творчестве испытала скорее влияние Лебедева-Кумача, нежели любимого ею Пушкина, что она сделала в этих стихах шаг к пониманию социализма...

Вы меня, как убитого зверя  
На кровавый поднимете крюк,  
Чтоб, хихикая и не веря,  
Иноземцы толпились вокруг.

И писали в почтенных газетах,  
Что мой дар несравненный угас,  
Что была я поэтом в поэтах,  
Но мой пробил тринадцатый час.

Видит Бог, не могла она поступить иначе. Жизнь ее сына была для нее дороже чести. Никто не понимал. Понял только Галич, с которым Ахматова познакомилась в эвакуации в Ташкенте. Понял и оправдал. Его песня, посвященная Ахматовой — "Без названия" — это памятник мудрой человечности, понимания, милосердия, какого-то высшего прозрения.



Ей страшно. И душно. И хочется лечь.  
Ей с каждой секундой ясней,  
Что это не совесть, а русская речь  
Сегодня глумится над ней.

И все-таки надо писать эпилог,  
Хоть ломит от боли висок,  
Хоть каждая строчка, и слово, и слог  
Скрипят на зубах, как песок.

...Скрипели слова, как песок, на зубах.  
И вдруг — расплывались в пятно.  
Белели слова, как предсмертных рубрах  
Белеет во мгле полотно.

По белому снегу вели на расстрел  
Над берегом белой реки.  
И сын ее вслед уходившим смотрел  
И ждал этой самой строки!

Торчала строка, как сухое жнивье.  
Шуршала опавшей листвой.  
Но Ангел стоял за плечом у нее  
И скорбно качал головой.

Ахматова отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки со всех сторон, в том числе и от того же сына. Лев Гумилев всю жизнь был в обиде на мать, считая, что она недостаточно активно боролась за его освобождение, что будучи делегатом XX съезда, не подошла к члену ЦК и не заявила о своем невинно осужденном сыне. Он не понимал, что Ахматова была в опале, что ее жалобы и прошения отвергались (Кржижановский был возмущен, что к нему обращаются с просьбой от "упадочного поэта"), что ее чуть не выгоняли из прокуратуры, и приходилось искать какие-то окружные пути борьбы за его освобождение, в то время как в лагере он после нескольких операций терял последнее здоровье.

О том, что у Ахматовой никогда не было иллюзий в отношении вождя, свидетельствуют другие ее стихи, обращенные к Сталину, которые в целях конспирации носили название "Подражание армянскому":

Я приснюсь тебе черной овцою  
На нетвердых, сухих ногах.  
Подойду, заблею, завою:  
"Сладко ль ужинал, падишах?"



Ты вселенную держишь, как бусу,  
Светлой волей Аллаха храним...  
Так пришелся ль сынок мой по вкусу  
И тебе, и деткам твоим?"

Хотя считается, что сатира чужда ахматовской поэзии, в 30 году она сочинила вариации на известную русскую стихотворную тему "Где же те острова?", в которых были такие строчки:

Где Ягода-злодей  
не сгонял бы людей  
к стенке  
И Алешка Толстой  
не снимал бы густой  
пенки...

Понимая всю крамолу таких стихов, писала с горькой усмешкой:

За такую скоморошину,  
Откровенно говоря,  
Мне свинцовую горошину  
Ждать бы от секретаря.

Если Пастернаку в то время хотелось

Труда со всеми сообща  
И заодно с правопорядком,

если он, побеждая "косность" своей грудной клетки, — впрочем, совершенно искренне (см. "Дневники" К. Чуковского) восхищался Сталиным, хотел беседовать с ним о вечности, если его манили загадочные, полные трагизма и соблазна отношения художника с властью (вспомним булгаковского Мольера и Людовика XIV), то Ахматовой с ее "зорко видящим глазом" было не свойственно обольщаться и ей не о чем было говорить ни со старой, ни с новой, ни вообще с какой-либо властью. Она слишком хорошо понимала, что такое власть.

Это те, что кричали: "Варраву  
Отпусти нам для праздника", те,  
Что велели Сократу отраву  
Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток  
В их невинно клеветущий рот —  
Этим милым любителям пыток,  
Знатокам в производстве сирот.

О великом мужестве души поэта — самое трагическое ее произведение "Реквием". Эта поэма написана как когда-то "Реквием" Моцарта — по заказу. Женщина с голубыми губами из тюремной очереди просила ее об этом, как о последней надежде на торжество правды и справедливости. И Ахматова берет на себя этот заказ, как тяжкий долг, не колеблясь. Она будет писать о всех, в том числе и о себе. Ее боль была частью всенародной трагедии. "Реквием" Ахматовой стал плачем по всем сгинувшим бесследно в сталинских тюрьмах и лагерях. Те, кто обвинял поэзию Ахматовой в "камерности", дали, сами того не ведая, начало трагическому каламбуру: она стала поэзией тюремных камер.

Это было, когда улыбался  
Только мертвый, спокойствию рад.  
И ненужным привеском болтался  
Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,  
Шли уже осужденных полки,  
И короткую песню разлуки  
Паровозные пели гудки.

Звезды смерти стояли над нами,  
И безвинная корчилась Русь  
Под кровавыми сапогами  
И под шинами черных марусь...

Когда наступила "оттепель", Ахматова говорила о себе: "Я — хрущевка". Ей принадлежит фраза: "Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили". Лишь процесс над И. Бродским оборвал ее симпатии к Хрущеву. Но даже тогда, когда "Один день Ивана Денисыча" опубликовали, "Реквием" все еще считался крамольным и попал в один список с самиздатовской лагерной литературой, а не с частично разрешенной антисталинской. Эта поэма побила все рекорды неопубликования: оконченный в предвоенный год, "Реквием" появился в нашей печати почти полвека спустя, в 1987-м году. На Западе несколько раньше — в 1963-м.

Надо сказать, до появления этой поэмы на Западе творчество Ахматовой не вызывало особого интереса. Судьба поэтессы казалась там недостаточно драматичной, чтобы привлечь широкую публику: она дожила до старости, умерла в больнице. Для иностранца ее трагедия была менее очевидна, чем

самоубийство Есенина, Маяковского, Цветаевой, лагерная кошмарная гибель Мандельштама. После "Реквиема" все увидели, что трагизм ахматовской судьбы был не менее черным, чем у ее современников. А может быть, даже большим, ибо она трезво осознавала его, не строя никаких надежд и иллюзий.

Когда погребают эпоху,  
Надгробный псалом не звучит.  
Крапиве, чертополоху  
Украсить ее предстоит.

И только могильщики лихо  
Работают. Дело не ждет!  
И тихо так, господи, тихо.  
Что слышно, как время идет.

А после она выплывает,  
Как труп на весенней реке, —  
Но матери сын не узнает,  
И внук отвернется в тоске.

До жути актуально звучат сейчас эти строки — помогают заглянуть в наше недалекое будущее и хоть как-то к нему подготовиться.

Поздняя Ахматова — во многом другая. После войны ее поэзия становится сумрачней, трагичней. На смену поэтике с ее атмосферой тайны, недосказанности приходит тяготение к историческому мышлению, к историческим сюжетам, гражданским темам. Читатель с изумлением увидел, что стих Ахматовой может греметь, "как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных".

В 1940-м году она начинает писать свою поэму "Без героя", которую писала 20 лет и считала самой значительной вещью в своем творчестве. Время действия произведения — 1913 год (последний мирный год романовской империи), место действия — Петербург. Ахматова стала летописцем своего времени, и это отнюдь не случайность, поскольку историей страны обычно интересуются люди, ощущающие свою связь со страной, жаждущие понять ее загадки и тайны. И Ахматова, скорбя о своем поколении:

...Мое поколенье  
Мало меду вкусило. И вот  
Только ветер гудит в отдаленье,  
Только память о мертвых поет... —

осудила его в "Поэме без героя" за то, что оно проплясало, прогуляло свое время и свою судьбу и тем — как знать? — возможно, и приблизило

революцию.

Поэма начинается сценой новогоднего карнавала, маскарада. Гости собрались, чтобы проводить старый 1913 год. Но это грустный праздник. Во всем ощущение утраты, сиротства, тревожного предчувствия несостоявшейся встречи, обманутой надежды. Среди толпящихся в доме новогодних гостей нет одного, самого желанного. Героиня, обращаясь к нему, говорит:

С тобой, ко мне не пришедшим,  
Сорок первый встречаю год.

Происходит смещение времен: 1913-й заслоняется 1941-м. Тот, кого ждет героиня — Гость из будущего. У него есть прототип — англичанин Исайя Берлин, с которым Ахматову многое связывало. Это о нем она пишет:

Я его приняла случайно  
За того, кто дарован тайной,  
С кем горчайшее суждено.  
Он ко мне во Дворец Фонтанный  
Опоздает ночью туманной  
Новогоднее пить вино.

Эта встреча с Исайей Берлиным, состоявшаяся осенью 1945-го года в ее доме, послужила основной причиной, как считала Ахматова, ждановского постановления ЦК 1946 года. Тогда встречи с иностранцами сурово наказывались. В 1956-м году в Посвящении к поэме Ахматова напишет:

Но не первую ветвь сирени,  
Не кольцо, не сладость молений —  
Он погибель мне принесёт.



Когда об этой встрече рассказали Сталину, он разозлился и произнес: "Ах так, наша монахиня теперь иностранных агентов принимает!", разразившись по адресу поэтессы набором таких непристойных ругательств, что никто из очевидцев не решился их потом повторить. А через четыре месяца вышло печально известное ждановское постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград". К. Симонов приезжал тогда на собрание из Москвы и метал громы и молнии: "Ахматовщину надо выжечь каленым железом!" — хотя всегда любил казаться либеральным. По сути дела это была беспримерная по жестокости и цинизму гражданская казнь.

Мне, лишенной огня и воды,  
Разлученной с единственным сыном...  
На позорном помосте беды,  
Как под тронным стою балдахинном.

Недавно в Доме литераторов был вечер памяти Анны Ахматовой, и из зала пришла записка: "Расскажите, пожалуйста, что это было за Постановление ЦК 46-го года". Многие тогда радовались: "Как прекрасно, мы дожили до свободы, до времени, когда молодежь не знает, что такое ждановщина!". Не стоит разделять эти восторги. Историческое беспамятство для свободы опасно, а для свободы слова — тем более. Нет надежнее способа вернуть проклятое прошлое, чем поначалу его забыть. И хотя говорят, будто история ничему не учит, нет более надежной прививки против проклятого прошлого, чем историческая память. В истории своей страны хорошо бы помнить не только великие победы, но и позорные падения, иначе мы рискуем их повторить.

Чем же были вызваны Постановление и доклад Жданова, где великая поэтесса Ахматова была названа блудницей, а крупнейший прозаик нашего века Зощенко — пошляком и хулиганом. Постановление, последствия которого наша литература ощущала сорок с лишним лет?

Ахматова считала, что помимо "встречи с иностранцем" Постановление вызвано также историей со "вставанием". В апреле 46-го на вечере ленинградских поэтов зал аплодировал Ахматовой стоя. А коллективно вставать в те годы позволялось только при появлении Сталина или при упоминании его имени.

Теперь открылась еще одна из причин ждановского Постановления. Оказывается, оно не было напрямую связано ни с рассказами Зощенко, ни со стихами Ахматовой, не имело оно и непосредственного отношения ни к встрече Ахматовой с Исайей Берлиным, ни к появлению под ахматовскими окнами Рандольфа Черчилля, ни к поэтическому вечеру в писательском клубе. Оно было — среди всего прочего — следствием борьбы двух кремлевских шаяк — ждановской и маленковской, схватки, как говорил Черчилль-старший, бульдогов под ковром.

В начале 1946 года побеждал в этой драчке Жданов. Маленков,

отвечавший в Политбюро за реактивную авиацию, ввиду частых воздушных катастроф был смещен с этой должности и отправлен в Ташкент. В его отсутствие Жданов готовил разгром Московского обкома и собирался его начать с детища столичной партийной организации журнала "Знамя". Однако в середине лета того же года Маленков, получив поддержку Берии, вернулся в Москву, и теперь уж пришлось защищаться Жданову.

Чтобы вывести из-под удара ленинградскую парторганизацию, Жданов выбрал другую мишень — Ахматову и Зощенко. Во-первых, они были самые знаменитые писатели северной столицы, а во-вторых, их преследовали и раньше. Подробно обо всем этом можно прочитать в книге И. Д. Бабиченко "Писатели и цензоры" (М., "Россия молодая", 1994).

Постановление 1946 года стало трагедией не только для Ахматовой, надолго лишенной и средств к существованию, и широкого читателя, не только для Зощенко, после Постановления не создавшего уже ничего достойного его великого таланта, но и для множества других литераторов. В каждой областной писательской организации выискивали своих, местных Зощенок и Ахматовых. Такие шабаши были одним из самых популярных методов руководства литературой, как будто литературой можно руководить. К такому руководству склонны в основном лишенные художественного вкуса бездари, каким был Жданов, его подручные и их многочисленные преемники, в течение сорока лет пытавшиеся приструнить русскую литературу.

Вокруг пререканья и давка.  
И приторный запах чернил.  
Такое придумывал Кафка  
И Чарли изобразил.

Этого злосчастного Постановления не отменили даже после XX съезда КПСС, оно работало и в восьмидесятых. И везде — на производстве, в вузах, школах — разве что детские сады эта участь миновала — все клеймили и клеймили Ахматову и Зощенко на уроках, на семинарах, на политзанятиях... Как-то Аня Каминская — внучка Пунина — в 59 году, придя из школы, сказала: "Акума, а мы тебя на уроке прорабатывали". Вырастало поколение, которое знало Ахматову лишь по ждановскому Постановлению да софроновскому "Огоньку" со стихами Сталину.

За меня не будете в ответе,  
Можете пока спокойно спать.  
Сила — право, только ваши дети  
За меня вас будут проклинять.

Что ж, для бюрократии настоящий писатель всегда был неудобен, даже по сути своей враждебен, поскольку он обладает силой, не убывающей и со

смертью пишущего, и поэтому власть истинного таланта куда дольше, чем главы правительства или даже государства. Поэтому чем талантливей в России художник, тем, как правило, его больше преследовали. И началось это не с Ахматовой и Зощенко, а с Радищева и Новикова. Ждановское Постановление вовсе не новшество, а лишь продолжение тех же гонений, которыми власть пыталась сломить русскую литературу.

Хоть и говорил с высокой трибуны Жданов о каких-то будуарах и молельнях Ахматовой — у нее никогда не было даже своего дома.

Никого нет в мире бесприютней  
И бездомнее, наверно, нет...

Обстановка в комнатах, где она жила, всегда была спартанской, почти нищенской, быт аскетичен. Неблагополучие было как норма жизни, как необходимый компонент судьбы поэта. Ей, казалось, было безразлично, где и как жить. Все, что было ей необходимо для работы, существовало внутри нее. Невозможно было даже представить себе такое словосочетание, как "кабинет Анны Ахматовой". Не потому, что его действительно никогда не было, а потому что не могло быть. У нее даже не было письменного стола. Ахматова говорила, что все свои стихи она написала "на подоконнике или на краешке чего-то". Булгаков тоже, кстати, говорил, что "настоящие вещи пишутся на краешке кухонного стола".



Трудно было найти человека более далекого, отгороженного от мелкого суетного быта. Она хранила только те вещи, которые были дороги ей как память сердца: перстень — подарок мужа, шаль, подаренная Цветаевой, рисунок её друга Модильяни, который всегда висел над кроватью. Ахматова говорила: "В нашу эпоху нет ничего устойчивого. Сейчас надо иметь только пепельницу да плевательницу". Убогая обстановка ее жилья — книжная полочка, железная кровать, единственный стул, чемодан для рукописей, голая лампочка без абажура — устроители музея Ахматовой потом были в панике: можно ли воссоздать подобный интерьер, вернее, полное его отсутствие? Но посреди всей этой щемящей бесприютности вас встречала повелительница мощной поэтической державы. Близкие называли ее "королева-бродяга". Что-то в ней было от странствующей бесприютной государыни. Королевы Лиры.



Ахматова прожила свою жизнь достойно, ничего не уступив из духовного достояния — ни чести, ни благородства, ни высокой культуры. Она сумела пронести крест своей судьбы так, что судьба эта стала примером великого духовного непокорства. Это и есть то, что сделало ее, сугубо "интеллигентскую" поэтессу великим поэтом нашего народа, Анной Всея Руси.

Голос её благороден.  
Облик её прекрасен.  
Подвиг её народен.  
Смысл её песен ясен.



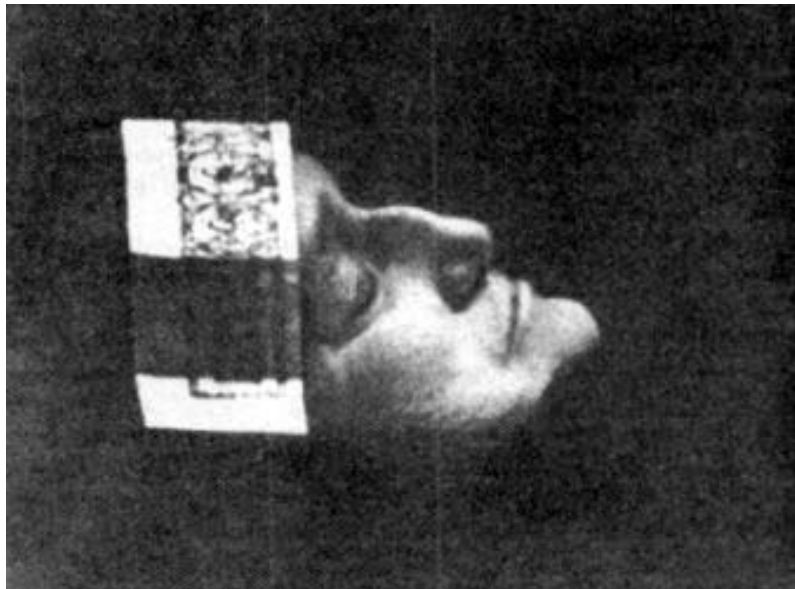
Исповедью откровений,  
Каждой своей строкою  
Правда её творений  
Встала над клеветою,

И на своём примере  
Выстраданного права  
Учит любви и вере  
Горького слова слава.

М. Дудин

Когда она умерла, Е. Евтушенко очень точно выразил чувства современников:

Не верилось, когда она жила,  
Не верилось, когда ее не стало...



А И. Бродский, которого она когда-то, по его словам, "одним поворотом головы превращала в хомо сапиенс", признавался: "Я часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне, наблюдает как бы свыше: как это она делала при жизни... Не столько наблюдает, сколько хранит". И еще он говорил о ней: "Это поэт, с которым более-менее можно прожить жизнь".

Теперь, когда Ахматова напечатана практически вся, сбылось её предсказание:

Я притворюсь беззвучною зимой  
И вечные навек захлопну двери.  
И всё-таки узнают голос мой,  
И всё-таки опять ему поверят.

Может быть, сегодня, как никогда раньше, её стихами мы измеряем свои поступки, поддерживаем в себе веру и мужество, что особенно необходимо нам сейчас, когда страна и мы вместе с ней снова стоим перед историческим тупиком. И хочется верить, что звезда, открытая и названная именем Анны Ахматовой, которая светит нам теперь не только в поэзии, но и в небе — высокая звезда, не подлежащая обмену на хлеб — наблюдает за нами свыше. И хранит.

